
Алексей Попов
Тишина в конце улицы

Алексей Попов

Тишина в конце улицы

«Автор»
2026

Попов А. В.

Тишина в конце улицы / А. В. Попов — «Автор», 2026

В уездном городке Белые Ключи живёт почтальон Илья Матвеевич Кузнецов. Тридцать лет он разносит чужие письма и молчит: не читает, не вскрывает, не вмешивается. Он давно решил, что почтальон - это не человек, а сумка, и в этой мысли ему спокойно.Но однажды в городе судят молодого писаря Степана, обвинённого в поджоге дома городского головы Гнездилова. Степан невиновен, и Илья Матвеевич это знает. Умирающий старый письмоводитель Савелий передаёт ему запечатанное письмо, способное всё изменить. Чтобы пустить его в ход, нужно нарушить тайну переписки - и собственное тридцатилетнее молчание. А за этим молчанием - давняя вина: сестра Ильи Матвеевича, Настя, когда-то погибла, потому что он не сказал ей ни слова.Психологическая повесть-притча. Это история о трусости, которая стала привычкой, о совести, которая не кричит, а ждёт, и о том, что молчание - тоже соучастие. И о цене одного слова, которое может спасти чужую жизнь, но разрушить свою.

© Попов А. В., 2026
© Автор, 2026

Алексей Попов
Тишина в конце улицы

Тишина в конце улицы
Повесть

Пролог

Городок назывался Белые Ключи, хотя ключей в нём не было никаких - ни студёных родников, ни целебных источников, ни даже простого ручья, который заслуживал бы такого имени. Белым он бывал только зимой, когда снег покрывал крыши, заборы, колокольню и могилы на кладбище так ровно и так щедро, что казалось, будто кто-то большой и очень терпеливый прошёлся по всему городку широкой белой кистью, не пропустив ни единой щели, ни единой трещины, ни единой завалинки. Летом же он был серым - не потому, что в нём не было красок, а потому, что краски эти были приглушены пылью, дёгтем, речной сыростью и той особенной уездной скукой, которая ложится на всё, как тонкий слой пепла. Пахло в Белых Ключах всегда одинаково: пылью, дёгтем, сыростью и ещё чем-то неуловимым - может быть, скукой, а может быть, терпением. Терпением здесь пахло сильнее всего.

Улица, на которой жил почтальон Илья Матвеевич Кузнецов, шла с востока на запад - ровно, прямо, без изгибов и поворотов, как будто кто-то провёл по земле линейкой и сказал: «Здесь будет улица». Начиналась она у почтамта, упиралась в дом городского головы Аристарха Петровича Гнездилова, и в этом была своя символика, которую никто в городе не замечал, потому что символы замечают только тогда, когда их кто-нибудь объяснит. Дом Гнездилова был каменный, двухэтажный, с чугунным балконом, с колоннами, выкрашенными в цвет старой кости, с высокими окнами, за которыми всегда горел свет, - и этот свет был как маяк: он говорил всем, что здесь живёт человек, который знает, как надо жить. За домом начинался овраг, за оврагом - поле, за полем уже ничего не было, только небо, которое зимой становилось низким и тяжёлым, как одеяло, а летом - высоким и пустым, как обещание, которое никто не собирается выполнять.

Илья Матвеевич жил на этой улице тридцать лет. Он знал её всю наизусть - не так, как знают дорогу, по которой ходят каждый день, а так, как знают человека, с которым прожил бок о бок всю жизнь. Он знал, где доска в заборе отходит - третья от угла, если идти от почтамта, - и что за ней всегда сыро, потому что там растёт мох. Он знал, где собака лает не зло, а от скуки, - у дома сапожника Гаврилы, - и что если с ней поздороваться, она замолчит и вильнёт хвостом. Он знал, где хозяйка вывешивает бельё так, что оно задевает прохожих, - у дома вдовы Тимофеевны, - и что если идти по правой стороне, можно пройти, не задев, а если по левой, то обязательно получишь мокрой простынёй по лицу. Он знал, в каком окне горит свет раньше всех - у кузнеца, который вставал до петухов, - и в каком позже всех - у Гнездилова, который никогда не ложился раньше полуночи. Он знал, кто с кем ссорится, кто кому пишет письма, кто кому должен, кто кого любит и кто кого ненавидит, хотя сами письма он не читал, потому что не имел права, а только носил их в сумке - тяжёлой, кожаной, с медными застёжками, которые он всегда застёгивал до конца, даже если в сумке оставалось всего одно письмо. Сумку он снимал только вечером, когда возвращался домой, и вешал на гвоздь у двери - большой, кованый, вбитый ещё его отцом, - и сумка висела там до утра, как чужое пальто, оставленное на время. В этой сумке была вся жизнь города: признания, просьбы, доносы, любовные письма, деловые бумаги, счета, поздравления и соболезнования. Он носил их молча, не читая, не вскрывая, не заглядывая в чужие души. Он был почтальоном, а почтальон - это не человек, это сумка. Так он думал всю жизнь. Так ему было удобнее думать.

Тишина в конце улицы была особенной. Она начиналась сразу за воротами Гнездилова - не за домом, не за оврагом, а именно за воротами, - и тянулась до самого оврага, и в этой тишине было что-то такое, от чего Илья Матвеевич всегда ускорял шаг, хотя сам себе в этом не признавался. Он говорил, что просто не любит пустых мест, что пустое место - это как незаполненный бланк: вроде ничего, а всё-таки непорядок. Но дело было не в пустоте. Дело было в том, что в этой тишине, как ему иногда казалось, кто-то жил. Не человек, нет. Что-то другое. Что-то, что не говорило, но слушало. Что-то, что было там всегда - и до Гнездилова, и до почты, и до самого города, может быть. И когда он проходил мимо, ему хотелось кашлянуть, или стукнуть тростью о тротуар, или просто сказать вслух какую-нибудь пустячную фразу - «добрый вечер» или «что-то сегодня холодно», - чтобы эта тишина не оставалась такой полной. Но он ничего не говорил. Он шёл, опустив голову, глядя на носки своих сапог, и думал, что завтра надо будет сменить подмётки, и что письмо для вдовы Прасковьи надо отнести до обеда, потому что она ждёт, и что погода, кажется, портится - вон и воробьи замолчали, и ветер подул с севера.

Так он и жил. Тридцать лет. Носил письма, молчал, снимал сумку вечером и вешал её на гвоздь. И если бы его спросили, счастлив ли он, он бы, наверное, удивился. Счастье - это не про него. Счастье - это когда человеку хорошо, а ему было не хорошо и не плохо. Ему было ровно. Ровно - это когда ты знаешь, что будет завтра, и знаешь, что послезавтра будет то же самое, и это не пугает, а успокаивает. Ровно - это когда у тебя нет ни радости, ни горя, ни надежды, ни страха, а есть только привычка. Привычка вставать в половине шестого, привычка пить чай за столом у окна, привычка надевать мундир, привычка снимать сумку и вешать её на гвоздь. Привычка молчать. Он не замечал, что это привычка. Он думал, что это жизнь. А жизнь, думал он, - это когда ты делаешь то, что должен, и не задаёшь вопросов. Вопросы - это лишнее. Вопросы - это как гвоздь в сапоге: вроде маленький, а идти не даёт. Он не задавал вопросов. Он просто шёл.

В то утро, с которого начинается наша повесть, он встал как обычно - в половине шестого, - и всё было как обычно, и ничто не предвещало. Но в воздухе уже было что-то. Что-то висело, как перед грозой, когда небо ещё чистое, а в ушах уже звенит. Он не мог бы сказать, что именно. Может быть, слух. Может быть, предчувствие. Может быть, просто старость, которая делает человека чутким к тому, что раньше он пропускал мимо ушей. Он пил чай и смотрел в окно, и видел, как водовоз проехал молча, не постучав по бочке, как делал всегда, чтобы предупредить хозяек, - и это было первое, что его насторожило. Потом кухарка Гнездилова прошла быстрее, чем обычно, и не оглянулась, - и это было второе. Потом городовой Прохор вышел из-за угла и не зевнул, а встал и стал смотреть в землю, - и это было третье. Тишина на улице была другая. Она была не пустая, а полная. Полная чего-то, что ещё не стало словом, но уже стало весом. И Илья Матвеевич, допив чай, подумал: «Что-то будет». И тут же одёрнул себя: «Не моё дело». И пошёл надевать мундир.

Глава первая. Обыкновенный день

Утро Ильи Матвеевича начиналось в половине шестого, когда за окном ещё было темно и только на востоке, над крышей сарая соседа, начинала проступать серая полоса, похожая на размытую акварель - не свет, а обещание света, не цвет, а намёк на цвет. Он просыпался не от часов - часов у него не было, - а от привычки, и лежал ещё несколько минут с открытыми глазами, глядя в потолок, где при свете керосиновой лампы, которую он зажигал всегда, вставая, дрожали тени от дров, сложенных в углу. Тени были живые. Они двигались, хотя огонь горел ровно, и в этом движении было что-то успокаивающее: мир не стоит на месте, мир дышит, мир живёт своей жизнью, а ты лежишь и смотришь, и тебе не надо ничего делать. Дрова были сложены ещё прошлой осенью, и Илья Матвеевич знал каждое полено в лицо - сухие, с трещинами,

с корой, которая уже начала отслаиваться. Он сам их колол, сам складывал, сам перекладывал, когда они начинали оседать. В этом был порядок. Порядок - это когда всё на своём месте. А всё на своём месте - это когда ты знаешь, где что лежит, и никто не может тебя упрекнуть.

Комната его была небольшая, но опрятная до чрезвычайности. Всё в ней имело своё место, и всё стояло на этом месте годами, так что если бы кто-нибудь передвинул стул на вершок в сторону, Илья Матвеевич заметил бы это сразу, хотя не смог бы объяснить, что именно его беспокоит. Кровать с железной спинкой, крашеная в чёрный цвет, с двумя подушками - одна жёсткая, набитая сеном, другая помягче, из пуха, оставшаяся от матери; стол под зелёной скатертью, которая выцвела по краям, но в середине была ещё яркой; на столе - чернильница, ручка и стопка почтовой бумаги, хотя он не писал писем, а только получал их и разносил; шкаф с посудой, в котором тарелки стояли так ровно, что между ними можно было просунуть палец, и это был единственный палец, который мог там поместиться; и сундук, обитый жестью, где хранились вещи, оставшиеся от матери и от сестры Насти, - платок, шкатулка, молитвенник и фотография, на которой Настя была снята смеющейся, с косой, перекинутой через плечо. Фотография стояла на подоконнике и всегда заслоняла свет. Илья Матвеевич знал, что она заслоняет свет, и знал, что можно переставить её на комод, и свету будет больше, и в комнате станет веселее. Но он не переставлял. Ему казалось, что если он переставит фотографию, то Настя обидится - не потому, что она могла обидеться, а потому, что в этой фотографии было что-то такое, что требовало стоять именно здесь, у света, чтобы свет падал на неё и чтобы она смеялась в этом свете. Смех Насти был единственным смехом в этой комнате. Если бы она перестала смеяться, комната стала бы совсем тёмной.

Он вставал, умывался холодной водой из рукомойника - вода была студёная, и он всегда фыркал, когда плескал её на лицо, - вытирался полотенцем, которое менял по воскресеньям, надевал свой почтовый мундир - тёмно-зелёный, с медными пуговицами, истёртыми до блеска, - и садился пить чай. Чай он пил всегда один, за столом, глядя в окно, за которым просыпался город. Сначала проходил водовоз с бочкой - тяжёлой, скрипучей, с железными обручами, которые стучали о дерево, как часы; потом кухарка Гнездилова, толстая и румяная, шла на базар с корзиной, и корзина была всегда полна, потому что в доме Гнездилова ели много; потом показывался городовой Прохор, который всегда зевал, выходя из-за угла, и крестил рот, и шёл дальше, не глядя по сторонам. Прохор был человеком незлобивым, но ленивым, и его главным занятием в жизни было стоять на углу и смотреть, как мимо него проходит время. Иногда он ловил пьяных, но делал это без удовольствия, как будто выполнял повинность, и потом отпускал их с миром, потому что в тюрьме не было места, а на улице они никому не мешали. Всё это Илья Матвеевич знал наизусть - не потому, что наблюдал, а потому, что видел каждый день, и каждый день это было одно и то же, и в этом однообразии была своя прелесть, которую он не назвал бы прелестью, но которая держала его на земле.

За чаем Илья Матвеевич думал о делах. Он думал не о чём-то большом - не о Боге, не о смысле жизни, не о том, что будет после смерти, - а о том, что надо зайти в почтамт, получить корреспонденцию, разобрать её по улицам, разложить по сумке, а потом нести, нести, нести, и так до обеда, а после обеда - снова, и вечером - снова, и так каждый день. И в этом была своя твёрдость, своя правильность, которая не требовала ни слов, ни объяснений. Он думал о том, что подмётки на левом сапоге стёрлись до самой кожи и что надо зайти к сапожнику Гавриле, но Гаврила дерёт втридорога, а у него, Ильи Матвеевича, сейчас каждая копейка на счету, потому что жалованье маленькое, а цены растут. Он думал о том, что вдова Прасковья ждёт письма от сестры из города, и что письмо это, наверное, уже пришло, и что надо отнести его до обеда, потому что вдова - женщина нервная и будет волноваться. Он думал о том, что в почтамте опять, наверное, будет сидеть этот новый помощник, молодой, прыщавый, который всё время что-то роняет и путает адреса, и что Савелий, старый письмоводитель, уже не может его поправлять, потому что у Савелия руки трясутся, и он уже неделю не запечатывает кон-

верты, а только сортирует. Савелий был единственным человеком в почтамте, с которым Илья Матвеевич мог молчать, и это молчание было хорошее, потому что Савелий понимал его без слов. Савелий тоже молчал всю жизнь - тридцать пять лет, - и через его руки прошли все письма города, и он знал все тайны, но никогда никому не говорил ни слова. Он говорил, что письмо - это святое, и что тот, кто читает чужие письма, - вор. И Илья Матвеевич с ним соглашался. Он тоже так думал. Он тоже никогда не читал чужих писем - даже тех, которые можно было прочитать, не вскрывая: по адресу, по обратному адресу, по почерку. Он не читал. Он носил.

В то утро, однако, всё было иначе. Ещё с вечера по городу пополз слух - сначала тихий, как мышь, потом громче, как крыса, - что арестовали Степана, молодого писаря из управы. Степан жил с матерью на Заречной улице, у реки, и был известен тем, что однажды, два года назад, надерзил самому Гнездилову. Это было так: Гнездилов распекал его за какую-то бумагу, которую Степан будто бы перепутал, и распекал долго, громко, с удовольствием, потому что власть любит, когда её боятся. А Степан стоял, слушал, смотрел в пол, и вдруг поднял голову и сказал: «Аристарх Петрович, а ведь вы неправы». И все замерли. И Гнездилов замер. И потом сказал: «Вон». И Степан вышел, и никто не сказал ему ни слова, и он ушёл, и все смотрели ему вслед и думали: «Вот дурак». А теперь его арестовали. Его обвиняли в поджоге. Говорили, что он будто бы поджёг сарай Гнездилова, и сарай сгорел до основания, и в нём сгорели какие-то важные бумаги, и если бы не пожарные, которые приехали вовремя, сгорел бы и дом, и тогда было бы совсем страшно. Говорили также, что при обыске нашли у Степана в сарае керосин, и что это был тот самый керосин, которым подожгли сарай Гнездилова. И ещё говорили, что Степан будто бы признался, но потом отказался, и что теперь его держат в холодной, в подвале под управой, и что суд будет через неделю.

Илья Матвеевич слышал этот слух ещё вчера, в почтамте, когда разбирал письма. Он не придал ему значения. Мало ли что говорят? В городе говорили всегда, и всегда сгущали краски, потому что иначе было бы скучно жить. Он подумал тогда: «Не моё дело», - и подумал это так привычно, так гладко, что даже не заметил, как подумал. Это было как тень, которая скользит по стене: видишь её, но не думаешь о ней, потому что она - не вещь, а отсутствие света. Но сегодня, за чаем, слух вернулся. Он вернулся не как слово, а как ощущение: в городе было что-то не так. Улица была тише обычного. Водовоз проехал молча. Кухарка Гнездилова прошла быстро. Городовой Прохор не зевал. И в этой тишине было что-то такое, от чего Илье Матвеевичу стало не по себе. Он допил чай, встал, снял с гвоздя сумку, надел её через плечо и вышел.

На улице было холодно. Снег лежал серый, утоптанный, с чёрными пятнами грязи, и небо было серое, низкое, и воробьи сидели на заборе, нахохлившись, как маленькие серые комочки, и не чирикали. Он шёл по улице и здоровался с теми, кто попадался навстречу, кивком головы, и все отвечали ему кивком, и никто не говорил ни слова. Это было обычно. С почтальоном не разговаривают: почтальон - это сумка, это письма, это чужая жизнь, которая проходит мимо тебя и не касается. Но сегодня это молчание было другое. Сегодня оно было как молчание человека, который знает что-то важное и не может сказать. И Илья Матвеевич, проходя мимо дома сапожника Гаврилы, вдруг остановился. Собака Гаврилы - рыжая, лохматая, с умными глазами - сидела у ворот и смотрела на него, не лая. Она никогда не лаяла на него, но сегодня она смотрела так, как будто ждала, что он что-то скажет. И он сказал:

- Что, брат? - сказал он. - Тихо?

Собака вильнула хвостом. И Илья Матвеевич пошёл дальше, и ему стало легче от того, что он сказал хоть одно слово. Хоть одно слово, но своё. Не «не моё дело», а просто «тихо». И это было уже что-то.

В почтамте было теплее, чем на улице, и пахло сургучом и бумагой - острым, чуть сладковатым запахом, который Илья Матвеевич любил с детства. За стойкой стоял Савелий - сгорбленный, с желтоватым лицом и руками, которые всегда дрожали, когда он брал письма. Он был

болен уже давно, и все знали, что он болен, и он сам знал, что болен, но продолжал ходить на службу, потому что дома было ещё хуже, чем на службе: дома была тишина, а на службе - бумаги, которые шелестели. Бумаги шелестели, и это было как разговор. Савелий любил этот шелест. Он говорил, что бумага - это единственное, что никогда не врёт, потому что она просто лежит и ждёт, когда её прочитают. А люди врут. Люди всегда врут - даже когда молчат.

- Здравствуй, Илья, - сказал Савелий. Голос у него был тихий, шершавый, как будто он говорил через силу.

- Здравствуй, Савелий, - сказал Илья Матвеевич.

Они помолчали. Это было их обычное приветствие - два слова и молчание. Молчание было длинное, но не неловкое. Они стояли и молчали, и каждый думал о своём, и это было хорошо.

Потом Савелий подал Илье Матвеевичу пачку писем - перевязанную бечёвкой, с сургучной печатью, - и Илья Матвеевич взял её и начал разбирать, как всегда: сначала по улицам, потом по домам, потом по адресатам. Пальцы его делали это автоматически, а голова была занята другим. Он думал о Степане. Он вспомнил его лицо - молодое, худое, с упрямыми глазами, - и вспомнил, как Степан сказал «вы неправы», и как все замерли, и как никто не сказал ни слова. Он подумал: «Может, он и поджёг». И сам себе не поверил. Не потому, что знал Степана, а потому, что слишком уж гладко всё выходило: человек надерзил начальству, а потом его обвинили в поджоге. Так не бывает. Так бывает только в плохих книжках. Но в жизни, подумал он, бывает и хуже. В жизни бывает так, что человек не виноват, а его судят, и все молчат, потому что боятся, и он один стоит перед всеми, и никто не говорит за него ни слова.

Он разложил письма по сумке и вышел на улицу. Первое письмо было для вдовы Прасковьи, матери Степана. Он знал это, потому что адрес был написан её рукой - крупно, с нажимом, и он подумал, что, наверное, она пишет кому-то из родственников, просит помощи. Он пошёл на Заречную улицу, и чем ближе подходил, тем тяжелее ему становилось, хотя он сам не мог бы сказать почему. Заречная улица была беднее той, на которой он жил: дома маленькие, в три окна, с покосившимися крыльцами, с сараями, которые давно не чинили. Улица шла вдоль реки, и река была серая, холодная, с тёмными полыньями у берега, и над ней висел туман, который не рассеивался даже днём. Вдова Прасковья жила на самом краю, у поворота, в доме, который стоял так близко к воде, что весной, когда река разливалась, вода подходила к самому крыльцу. Дом был маленький, в три окна, с покосившимся крыльцом и сараем, который давно не чинили. Вдова Прасковья была женщиной простой, работящей, она стирала бельё на весь город и этим кормила себя и сына. Руки у неё были красные, распухшие от воды и мыла, и она никогда не жаловалась, потому что жаловаться - это тоже роскошь, а у неё не было денег на роскошь.

Когда Илья Матвеевич подошёл к калитке, он увидел, что она сидит на крыльце, не плачет, а просто сидит, сложив руки на коленях, и смотрит перед собой. Увидев его, она встала и пошла навстречу, и в её глазах было что-то такое, от чего Илья Матвеевич опустил голову.

- Письмо? - сказала она.

- Письмо, - сказал он и протянул ей конверт.

Она взяла его, но не посмотрела, а продолжала смотреть на Илью Матвеевича.

- Вы всё носите, - сказала она. - Вы всё знаете. Может, есть письмо? Такое, чтобы его выпустили?

Илья Матвеевич молчал. Он стоял и молчал, и это молчание было таким же, как всегда, но теперь оно было другим: теперь оно было виноватым. Он сказал:

- Почта не для того.

Он сказал это и сам услышал, как это прозвучало: сухо, казённо, как будто он читал инструкцию. Вдова Прасковья ничего не ответила. Она взяла письмо и пошла в дом, и дверь за ней закрылась тихо, без стука, и это было хуже, чем если бы она хлопнула. Илья Матвеевич

постоял ещё минуту, потом повернулся и пошёл дальше. Он разнёс ещё несколько писем, но всё время чувствовал на себе её взгляд. Он знал, что она не смотрит ему вслед, что она сидит в доме и, может быть, плачет, но ему казалось, что она смотрит. И он шёл быстрее, чем обычно, и к обеду вернулся домой, и сел за стол, и не мог есть. Он сидел и смотрел на фотографию Насти, которая стояла на подоконнике и заслоняла свет.

Настя была его сестрой. Она умерла тридцать лет назад, и с тех пор прошла вся его жизнь. Он не любил о ней думать. Он думал о ней только тогда, когда что-то напоминало: запах духов, который он однажды почувствовал в письме, или смех молодой девушки на улице, или вот теперь - лицо вдовы Прасковьи, которая просила за сына. Он сидел и думал, и впервые за долгое время ему захотелось сказать вслух что-нибудь такое, что не было бы «не моё дело». Но он не знал, что сказать. Он не умел говорить такие слова. Он умел носить письма. Он умел молчать. А говорить - не умел.

Вечером он пошёл в церковь. Он не был верующим - то есть он верил в Бога, конечно, как верили все, но не ходил в церковь, потому что не знал, что там делать. Но сегодня ему хотелось побыть в тишине, а тишина в церкви была другая - не давящая, а светлая. Он стоял у иконы и смотрел на огоньки свечей, и в голове его было пусто. Он не молился. Он просто стоял. И в этой тишине он вдруг услышал голос - не человеческий, а свой собственный, который говорил: «Ты должен что-то сделать. Ты не можешь просто носить письма». Он вышел из церкви и пошёл домой. На улице было темно, и снег шёл, мелкий, сухой, и ветер носил его по улице. Он дошёл до конца улицы и остановился. Впереди был дом Гнездилова. В окнах горел свет. И тишина вокруг была такая, что казалось, будто весь город затаил дыхание.

Глава вторая. Арест

Арест Степана произошёл на площади, утром, когда город ещё не проснулся до конца и только петухи, захлёбываясь собственной важностью, перекликались через заборы. Говорили, что его взяли в доме матери, ночью, часов в пять, когда за окнами было ещё черно и только на востоке начинала проступать та самая серая полоса, похожая на размытую акварель. Говорили, что он не сопротивлялся, а только сказал: «Я знал». Говорили также, что при обыске нашли у него в сарае керосин - большую жестяную банку, наполовину пустую, с крышкой, залитой сургучом, - и что это был тот самый керосин, которым подожгли сарай Гнездилова. И ещё говорили, что Степан будто бы признался, но потом отказался, и что теперь его держат в холодной, в подвале под управой, и что суд будет через неделю, а может, и раньше, потому что Гнездилов торопит.

Илья Матвеевич узнал об этом от городового Прохора, который утром, на углу, наконец перестал смотреть в землю и сказал:

- Степана-то взяли. Вчерась ночью. В подвале сидит.

Он сказал это тихо, почти шёпотом, и оглянулся, как будто боялся, что его услышат. Илья Матвеевич кивнул. Он не спросил ничего. Он не спросил, как взяли, за что взяли, кто видел, кто слышал, что говорят, что будет. Он не спросил, потому что знал: Прохор всё равно ничего не скажет. Прохор был человеком незлобивым, но осторожным, и осторожность эта была не от ума, а от службы. Он знал, что за лишнее слово можно потерять место, а место - это пенсия, а пенсия - это кусок хлеба, а кусок хлеба - это жизнь. И Илья Матвеевич его понимал. Он тоже всю жизнь молчал, чтобы не потерять кусок хлеба. Только у него не было ни места, ни пенсии. У него была сумка, и он её берёг.

Он пошёл дальше, с сумкой через плечо, и разносил письма, и в каждом доме ему говорили о Степане. Кто-то говорил с сожалением - «жаль парня, молодой ещё», - кто-то с злорадством - «поделом, не будешь начальству дерзить», - кто-то с равнодушием - «а нам-то что,

лишь бы нас не тронули». И все говорили, и это было странно: город, который всегда молчал, вдруг заговорил. И говорил он не о себе, а о Степане, и в этом было что-то такое, от чего Илье Матвеевичу становилось не по себе. Он думал: «Вот они говорят, говорят, говорят. А когда надо было сказать, никто не сказал. Когда Степан стоял перед Гнездиловым и говорил "вы неправы", никто не поддержал его. А теперь все говорят. Только поздно. Слово - оно как письмо: если не доставить вовремя, оно уже не нужно».

Днём он проходил мимо управы. Управа стояла на площади, двухэтажная, с часами на башне, и часы эти всегда отставали на семь минут - не потому, что их не чинили, а потому, что в городе не было мастера, который мог бы их починить. У крыльца стояла вдова Прасковья. Она стояла на снегу, в одном платке - сером, старом, с дырой на плече, - и не двигалась. Она не плакала, не просила, не кричала. Она просто стояла и смотрела на окна управы, как будто ждала, что оттуда кто-нибудь выйдет и скажет ей, что всё это ошибка. Снег падал ей на плечи, на голову, на платок, и она не стряхивала его. Она стояла, как памятник самой себе, - памятник матери, которая ждёт сына. И Илья Матвеевич, проходя мимо, вдруг остановился.

Он сам не знал, зачем остановился. Он стоял и смотрел на неё, и она не видела его. И в этот момент он почувствовал, что не может идти дальше. Что ноги не идут. Что сумка на плече стала тяжелее, чем обычно. Что письма в сумке - это не просто письма, а чьи-то жизни, чьи-то надежды, чьи-то страхи, и что он носит их, не понимая, что носит. Он стоял минуту, другую, потом повернулся и пошёл обратно. Он не пошёл к ней. Он не сказал ей ни слова. Он просто повернул и пошёл, и это было трусостью, самой обыкновенной трусостью, и он это знал. Он знал это так же ясно, как знал, что завтра надо менять подмётки. Но он ничего не мог с собой сделать. Он не умел говорить с людьми о их горе. Он умел носить письма.

Вечером он вернулся домой, снял сумку, повесил её на гвоздь и сел на кровать. В комнате было тихо. За стеной, у соседей, плакал ребёнок - маленький, грудной, - и мать его укачивала, и сквозь тонкую стену было слышно, как она поёт: «Баю-баю, баю-бай, спи, сыночек, засыпай». Она пела тихо, устало, без радости, как поют не для ребёнка, а для себя, чтобы не сойти с ума. Илья Матвеевич слушал и думал о том, что вот эта женщина поёт своему сыну, и он уснёт, и будет спать, и ничего не будет знать. А вдова Прасковья не поёт. Она стоит на снегу у управы и смотрит на окна. И сын её сидит в подвале, в холоде, и, может быть, тоже не спит.

Он лёг, но не мог уснуть. Он лежал и смотрел в потолок, и в темноте ему чудилось, что потолок опускается. Он думал о Степане, о его лице, о том, как он сказал «вы неправы», и о том, как все замерли, и о том, как никто не сказал ни слова. Он думал о том, что в этом городе все молчат, и он молчит, и это молчание уже стало таким густым, что его можно потрогать руками. Он думал о том, что молчание - это не отсутствие слов, а присутствие чего-то другого. Чего-то тяжёлого, тёмного, что растёт в человеке, как опухоль, и однажды занимает всё место, и тогда человек уже не может говорить, даже если хочет. Он думал: «А может, я уже не могу? Может, во мне уже всё занято молчанием, и слова не помещаются?»

Потом он вспомнил, как в детстве, когда ему было лет десять, мать послала его за хлебом. Он шёл по улице - тогда ещё не по этой, а по другой, в старом городе, где они жили до переезда, - и увидел, как мальчишки бьют другого мальчика. Маленького, худого, в рваной рубахе, с разбитым носом. Они били его и смеялись, а он лежал на земле и закрывал голову руками, и не кричал, не просил, не плакал. Он просто лежал и закрывал голову, как будто знал, что никто не придёт, и что кричать бесполезно. И Илья стоял и смотрел. Он мог бы закричать, мог бы побежать за взрослыми, мог бы броситься и растащить их. Но он стоял и смотрел, и потом пошёл дальше, за хлебом, и когда вернулся, мальчика уже не было. И он никогда не узнал, что с ним стало. Он даже не знал его имени. Он просто прошёл мимо. И это было первое молчание в его жизни - первое, которое он запомнил. Потом были другие. Когда обижали мать - соседка кричала на неё за то, что она вывесила бельё не там, где надо, - он молчал. Когда Настя плакала из-за Гнездилова - он стоял за дверью и слушал, и молчал. Когда хоронили мать - он стоял у

могилы и молчал, потому что не знал, что говорить. Когда хоронили Настю - он тоже молчал. И вот теперь он молчал, когда арестовали Степана. И это молчание было уже не первым, а может быть, последним. Он не знал.

Он вспомнил это и почувствовал, как что-то сжалось в груди. Он подумал: «Я всегда проходил мимо». И эта мысль была такой простой и такой страшной, что он сел на кровати и зажёг лампу. В комнате стало светло, и тени от дров в углу задрожали, как живые. Он посмотрел на фотографию Насти и вдруг сказал вслух, тихо, почти шёпотом:

- Настя.

И ему показалось, что в комнате кто-то есть. Не человек, нет. Что-то другое. То же самое, что было в тишине в конце улицы. Оно стояло и слушало. И он понял, что это не тишина. Это совесть. Он читал об этом в книгах - в тех немногих книгах, которые были у него в сундуке, рядом с молитвенником и шкатулкой, - но не думал, что совесть может быть такой. Он думал, что совесть - это голос. А она была не голосом, а тишиной. Тишиной, которая ждёт. Тишиной, которая знает. Тишиной, которая не уйдёт, пока ты не скажешь.

Он просидел так до утра. Он не спал. Он смотрел на лампу и думал. А когда за окном начало светать, он встал, оделся и пошёл в почтамт - не на службу, а к Савелию. Он сам не знал, зачем. Может быть, потому, что Савелий был единственным человеком, который мог его понять. Может быть, потому, что Савелий тоже молчал всю жизнь и знал, что это такое. Может быть, потому, что он просто не мог оставаться один.

Глава третья. Письмо

Савелий умирал. Об этом знали все, но никто не говорил об этом вслух, потому что говорить о смерти - дурная примета, а в уездном городе приметы соблюдали строго, как законы. Он ходил на службу, но с каждым днём становился всё более жёлтым и всё более медленным, и руки его дрожали так, что он уже не мог запечатывать конверты, и ему поручали только сортировку. Он сидел за столом, перебирал письма, и в его движениях была та особая бережность, с какой старик держит вещи, которые переживут его. Он знал, что умирает. Он знал это уже месяц, может быть, два, и знал, что это не больно, а просто медленно, как будто из него по капле вытекает жизнь, и он становится всё легче и всё прозрачнее. Он не боялся. Он боялся только одного: что умрёт, не сказав того, что должен сказать.

Илья Матвеевич навещал его иногда. Не потому, что они были друзьями - друзей у Ильи Матвеевича не было, - а потому, что Савелий был единственным человеком в почтамте, с которым можно было молчать. Они сидели рядом и молчали, и это было хорошо. Савелий понимал молчание, потому что сам молчал всю жизнь. Он был письмоводителем тридцать пять лет, и через его руки прошли все письма города, и он знал все тайны, но никогда никому не говорил ни слова. Он говорил, что письмо - это святое, и что тот, кто читает чужие письма, - вор. И Илья Матвеевич с ним соглашался. Он тоже так думал. Он тоже никогда не читал чужих писем. Но теперь, глядя на Савелия, он вдруг подумал: «А может, молчание - это тоже воровство? Может, я всю жизнь крал у людей правду?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.